



## Annotation

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии «Жизнь замечательных людей», осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839-1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют ценность и по сей день. Писавшиеся «для простых людей», для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

---

- [Е. Орлов](#)
    - 
    - [Глава I](#)
    - [Глава II](#)
    - [Источники](#)
-

**Е. Орлов**

**Демосфен**

**Его жизнь и деятельность**

**Биографический очерк**

*С портретом Демосфена, гравированным в  
Петербурге К. Адтом, и другими  
иллюстрациями*



# Глава I

*Исторический момент и трагизм Демосфеновой фигуры. – Происхождение Демосфена и его образование. – Процесс с опекунами. – Адвокатура в Афинах. – Первые попытки Демосфена и причины их неудачи. – Недостатки Демосфена как оратора и борьба с ними. – Выступление на политическом поприще. – Лептинов процесс. – Речь о симмориях. – Начало борьбы с Македонией. – Личность и политика Филиппа. – Объявление войны. – Первые шаги. – Священная война. – I Филиппика. – Осада Олинфа и олинфские речи. – Падение Олинфа. – Частная жизнь Демосфена, его характер; история с Мидием*

После полутораста лет истории, поразительной по своему богатому содержанию и вкладам, внесенным в сокровищницу человеческого духа, свободная жизнь Эллады стала близиться к концу. На сцене, как непосредственный результат персидских войн, появился новый экономический фактор – коммерческий капитал, и действие его повсюду, куда он проникал, сопровождалось разложением устоев, на которых покоился социальный организм Греции. Он, прежде всего, расслоил в таких общинах, как Афины, однородное дотоле население на два класса, торгово-промышленную буржуазию и ремесленный пролетариат, которые во взаимной борьбе утратили прежнюю концепцию о государстве, как о чем-то стоящем выше отдельных граждан и даже групп их, и превратили его в предмет эксплуатации и средство к обогащению и пропитанию.

Он далее вызвал к жизни неизвестное дотоле противоположение между земельною и торговою собственностью, и на почве такого антагонизма расчленил и без того раздробленную Элладу на множество мелких общин, забывших во вражде друг к другу древние исторические традиции и утративших сознание своего расового и культурного единства. Он, наконец, в сфере международного обмена продуктов, поставил эллина и варвара лицом к лицу, как независимые и равноправные личности, и тем дал начало тому космополитизму древности, который так походил на индифферентизм к интересам родины и соплеменников. Словом, он внес повсюду – во внутренние, взаимные и внешние отношения греческих общин – элемент разрушения и тлена, и Эллада, таким образом, роковыми шагами приближалась к моменту, когда иноземный завоеватель должен был положить предел ее самостоятельности и свободе.

Естественно, что Демосфен, которому суждено было жить и

действовать в эту эпоху, представляет собой фигуру поистине трагическую. Все свои огромные силы, свой дивный дар красноречия, свою неутомимую энергию он отдал на дело служения отечеству – на спасение его от гибели, на защиту от врага; но все его беспримерные усилия были напрасны: он всюду наткнулся на обстоятельства, которые были сильнее его, и, наконец, погиб, не совершив ничего, не оставив даже следов. Во всей перипетии великого человеческого драмы мы не найдем столь яркого и несомненного примера беспомощности человеческой личности против стихийно-неумолимого хода истории, и биография Демосфена приобретает поэтому интерес, далеко превосходящий во многих отношениях интерес к другим замечательным личностям древнего мира.

Демосфен родился в Афинах в 384 г. до Р. Х. Собственно говоря, эта дата далеко не бесспорна; тем не менее, она признана за наиболее вероятную большинством новейших исследователей, которые имели терпение разобраться во всей массе противоречивых показаний древних авторов. Отец оратора, носивший то же имя, что и сын, происходил из небольшого городка Пэании близ Гиметта и принадлежал к респектабельной буржуазии, владея двумя мастерскими, в которых с полсотни рабов занимались производством оружия и мебели. Менее безупречно было происхождение Демосфена со стороны матери, Клеобулы: во-первых, в ее жилах текла варварская кровь, так как ее мать была уроженка Фракии; во-вторых же, отец ее, Гилон, из древнего рода Керамиев, запятнал себя изменою отечеству, сдав босфорскому царю крымскую колонию афинян Нимфей, и прожил поэтому всю жизнь изгнанником на берегу Черного моря. Эти факты, правда, известны нам со слов Демосфеновых врагов; но, при отсутствии свидетельств противного или даже протестов со стороны самого Демосфена, нам приходится принимать эти факты за вероятные, если не вполне достоверные.

Первая половина жизни Демосфена до его выступления на публичном поприще нам весьма мало известна. Мы знаем лишь, что семи лет от роду он потерял отца и вместе с матерью и пятилетней сестрою остался под опекою двух родственников и одного старого друга дома, которые, как это часто бывало во все времена, очень недобросовестно отнеслись к своим обязанностям и расхитили его имущество почти дотла. Опекунская натура, по-видимому, довольно постоянна, но справедливость требует заметить, что воспитание Демосфена не было пренебрежено. Плутарх, основываясь, вероятно, на несохранившейся работе Феопомпа, утверждает, правда, противное; но и косвенные, и прямые свидетельства самого оратора заставляют нас не соглашаться с ним. За слабостью здоровья, заслужившей

ему полууничижительное прозвище “βᾶταλοζ” – не то “дитя”, не то что-то похуже – он был освобожден от обычных упражнений в гимнастике; зато он обучался под руководством лучших учителей всем школьным предметам того времени. Рассказывают, что, будучи еще совершенным ребенком, он упрямил однажды своего воспитателя взять его с собою в суд, где разбиралось дело Каллистрата, обвинявшегося в государственной измене. Речь этого великого оратора и выдающегося государственного деятеля была так блестяща, что судьи вынесли ему оправдательный вердикт и народ восторженной толпою проводил его домой. И на молодого Демосфена речь Каллистрата оказала сильное впечатление: видя успех, которым она увенчалась, он решил во что бы то ни стало сделаться оратором и положить все свои силы на то, чтоб добиться своей цели.

Рассказ этот, по существу своему верный, поскольку касается самого инцидента в карьере афинского государственного деятеля, был бы недурен, если бы историки, передающие его, не забыли свести надлежащие счета с хронологией: дело Каллистрата разбиралось приблизительно в 366 году, а тогда Демосфен далеко уже перешагнул за детский возраст – ему было уже около 18 лет – и весь анекдот, претендующий указать обстоятельства, вызвавшие в нашем герое ранние стремления к ораторской деятельности и славе, теряет всякий смысл. Тем не менее, несомненно, что Демосфен еще в юные годы стал серьезно изучать все предметы, необходимые для оратора, – отчасти потому, что они входили в круг общего образования того времени, отчасти же потому, что ему предстоял процесс с опекунами.

Как мы уже упоминали выше, эти опекуны были все люди близкие: двое из них, Афоб и Демофон, были родные дядья Демосфена, а третий, Феррипид, был закадычный приятель отца его. Последний, по-видимому, отлично зная нравы своего века и не слишком полагаясь поэтому на одни родственные и дружеские чувства, решил закрепить их солидным вознаграждением в виде упоминания в завещании: он отказал Афобу 80 мин деньгами (мина = 40 р.) с тем, однако, чтоб он женился на вдове, Демофону – 2 таланта (талант = 2400р.) с тем, чтобы он взял его дочь, когда она придет в возраст, а Феррипиду – проценты с 70 мин за все время несовершеннолетия сына без всяких обратных обязательств. Как и следовало ожидать, опекуны одну половину дела – ту, которая относилась к деньгам, – выполнили весьма исправно, а от другой – матримониальной – столь же исправно уклонились; в результате оказалось, что ко времени достижения Демосфеном совершеннолетия – на 18-м году жизни – от довольно крупного по тогдашним временам наследства в 14 талантов, не считая выросших за 11 лет процентов, остались одни крохи. Тогда

Демосфен и начал тяжбу, предъявив против опекунов иск на расхищенную сумму. По обычаям афинского судопроизводства, истец обязан был самолично вести свое дело, и так как процессу, по-видимому, предстояло затянуться надолго благодаря интригам влиятельных опекунов, то Демосфен воспользовался этим, чтоб приналечь на юриспруденцию и риторику. Он усердно штудирует сочинения Исократы, Алкидама и других риториков, и берет уроки у известного юриста Изея, который, хотя и был иностранцем – он уроженец Халкиды на острове Эвбея, – но славился как отличный знаток аттического права вообще и законов по делам, касающимся имущественных исков, в частности. Два года разбиралось дело диэтетами – судьями первой инстанции – и дважды постановлялось решение в пользу истца; на третий год, в 364 году, Демосфен перенес процесс к самому архонту, который и вынес в его пользу окончательный приговор. Афоб, против которого, собственно, Демосфен и предъявлял иск, сохранив, однако, за собою право продолжать тяжбу и против остальных опекунов, присужден был к штрафу в 10 талантов. К сожалению, нам осталось неизвестным, был ли этот штраф уплачен или нет; вероятнее всего, что нет, так что Демосфену пришлось удовлетвориться одним лишь сознанием своей победы.

Тем не менее это дело, столь характерное для нравственного состояния тогдашнего общества, не осталось без последствий для дальнейшей судьбы Демосфена. Частью потому, что он остался при весьма небольших средствах и, стало быть, должен был искать себе какое-нибудь доходное занятие, а главное, быть может, оттого, что успех его первого дебюта вскружил ему немного голову. Демосфен решил посвятить себя адвокатуре как наиболее подходящей и, при тогдашней всеобщей страсти к тяжбам, прибыльной профессии. Аттическое право стало к этому времени весьма сложною наукою, и при той высокой степени специализации занятий, какая господствовала в Афинах со времен софистов, адвокаты сложились в особое сословие, без которого обществу трудно было бы обойтись. Они давали необходимые советы, составляли для своих клиентов речи и иногда сопровождали их в суд, где садились подле них и подсказывали им, получая за все это блестящие гонорары. Их положение в обществе было бы чрезвычайно почетное, если бы рядом с ними не существовали так называемые “логографы” – нечто вроде наших трактирных адвокатов, – которые своим кляузничеством и хищничеством бросали тень и распространяли заразу на всю профессию. То была все мелкоплавающая тварь, для которой мутная вода была чистым раздольем: они писали как прошения, так и доносы, затягивали дела, осложняли процессы,



придумывали новые жалобы и с особенным удовольствием подстрекали к тяжбам простодушных карасей, зная, что рано или поздно они попадут к ним же в пасть. Конечно, Демосфен не принадлежал к этой породе “юристов”; но несомненно, как мы увидим ниже, практика и приемы их не прошли бесследно и для его профессиональной этики.

Первые его попытки выступить перед широкой публикой были довольно плачевны. Нигде, вероятно, красноречие не ценилось так высоко и вместе с тем так тонко и так строго, как в афинских народных собраниях, где каждый был если и не всегда патриот или проницательный политик, то, по крайней мере, отличный знаток и любитель искусства во всех его видах. Между тем, трудно было бы встретить оратора, более плохо подготовленного природою к своей роли, нежели Демосфен. Хилый и узкогрудый с раннего детства, он совсем не был способен на те усилия, которые требуются от оратора, выступающего в больших и многолюдных собраниях: его тихий и слабый голос, легко переходивший в фальцет, прерывался болезненной одышкой, его речь, и без того невнятная и неровная, уродовалась еще неприятной картавостью и нечистым произношением, а нервозность и нерешительность часто заставляли его комкать целые фразы, вызывая нечто вроде заиканья. К тому же его жесты и общая манера держаться на трибуне далеко не отличались величием и красотой: он имел привычку подергивать плечом, нескладно размахивать руками и двигаться взад и вперед с угловатой неловкостью. Неудивительно, что его первое выступление на публичной эстраде было встречено всеобщим хохотом и шиканьем, заставившими его умолкнуть и исчезнуть. Он, однако, не пал духом и с удвоенным рвением принялся за исправление своих недостатков. Древние биографы передают нам в подробности средства и приемы, которые он употреблял с этой целью. Деметрий Фалернский уверяет даже, что он слышал их от самого оратора; но насколько эти рассказы правдоподобны, – мы все-таки не решимся сказать. Для укрепления легких он будто бы взбирался по несколько раз в день на гору, стараясь как можно реже и глубже дышать; для расширения голосовых связок он произносил длинные декламации, стоя на берегу моря и стараясь звуком своего голоса заглушить шумный прибой волн, а для приучения языка к чистому произношению он набирал мелкие камешки в рот и в таком положении произносил целые тирады. С целью же выработать приличную жестикуляцию он запирался на целые месяцы в подземную хижину, где никто не мог ему мешать, и там с полуобритой головою – дабы не могло быть искушения бросать занятия и выходить на свет Божий – упражнялся перед зеркалом, изучая малейшие свои движения

и подвесив над своим плечом заостренный меч. Вероятно однако, что и этих необычайных усилий было недостаточно, потому что, когда он сделал вторичную попытку выступить перед публикою, он потерпел такое же фиаско, как и в первые раз. Укутав голову плащом и сторя со стыда и обиды, он пробирался домой с целым адом в душе, терзаемый отчаяньем, оскорбленным самолюбием и ненавистью ко всему и вся. Он решил отказаться от своей любимой мечты, но, к счастью, его нагнал, говорят, известный в то время комический актер Сатир, который, заметив, как много гения проглядывало в этих жалких дебютах, решил ему помочь и указать, в какую сторону надлежит направить свои усилия. С судорожной страстностью стал Демосфен рассыпаться в жалобах на несправедливость судьбы, которая так скупно относится к человеку, уложившему все свои силы в любимое дело. “Это верно, – ответил умный актер, – но не прочтешь ли ты мне чего-нибудь из Еврипида и Софокла?” Демосфен с охотою исполнил его желание, и, когда он окончил, Сатир прочел то же самое, но с такою плавностью и выразительностью дикции, с такою безыскусственной и, вместе с тем, тонкой жестикуляцией, что Демосфен долго не мог опомниться от изумления и, наконец, понял все свои недостатки. Опять начались прежние занятия в пещере и на морском берегу, но на этот раз с большими шансами на успех, нежели прежде. Понятно, однако, что одной внешней стороной ораторского искусства занятия Демосфена не ограничились: с такою же основательностью и терпением трудился он над выработкою языка, стиля и логической формы, которые так высоко ценились в эпоху, жившую традициями софистов. С невероятным прилежанием изучал он лучшие существовавшие тогда сочинения по риторике, вроде знаменитого “Руководства” Исократы (предание о том, что он многим был обязан “Риторике” Аристотеля, не заслуживает доверия, – хотя бы уже потому, что сочинения этого философа были редижированы значительно позднее), семь раз кряду переписывал он Фукидида, этого бесподобного мастера выражать целые мысли в одном сжатом и сильном, подобно граненому алмазу, слове, и тщательно заучивал содержание слышанных или читанных им речей, стараясь проникнуть в глубь логического течения аргументов, обдумывая при этом каждый оборот, каждое выражение, каждое слово. Его старания в конце концов увенчались успехом, и после некоторых попыток, носивших следы чужих влияний, он сделался оратором, какого мир не знал ни до, ни после него.

Первая речь, с которою он выступил на политическом поприще (не считая немногих чисто судебных речей до этого), относится к 354 г., когда ему шел уже тридцатый год. Собственно говоря, и эта речь была

произнесена в зале суда, но ввиду ее политического содержания она смело может быть признана за начало политической деятельности Демосфена. Речь шла о законе Лептина, проведенном с год тому назад, в силу которого ни один афинский гражданин, за исключением потомков тираноубийц Гармодия и Аристокитона, не мог быть освобожден от “литургий”: так назывались почетные повинности вроде постановки хоров и прочие, которые возлагались на богатые классы, и от которых последние, естественно, отлынивали, ссылаясь на свои заслуги и другие обстоятельства, даровавшие по прежнему закону изъятия и льготы по выполнению этих обязанностей. Закон Лептина, проведенный, очевидно, в интересах городского пролетариата, возбудил сильное неудовольствие и в имущих кругах, и молодой богатый кутила Ктезипп, сын Хабрия, которому жаль было утратить привилегию, предоставлявшуюся ему по прежним законам в качестве сироты, возбуждает дело о неконституционности Лептинова закона и приглашает себе в синегоры (адвокаты) Демосфена. Последний весьма охотно берется за дело, желая угодить Ктезипповой матери, знатной и влиятельной вдове, и произносит довольно талантливую речь, в которой старается поставить вопрос о льготах и изъятиях на принципиальную почву необходимости для государства держать свои обещания. Его усилия, однако, пропали даром: у нас нет данных думать, что закон Лептина был отменен; зато мы имеем здесь первый пример того отношения логографа к делу, о котором мы упоминали раньше.

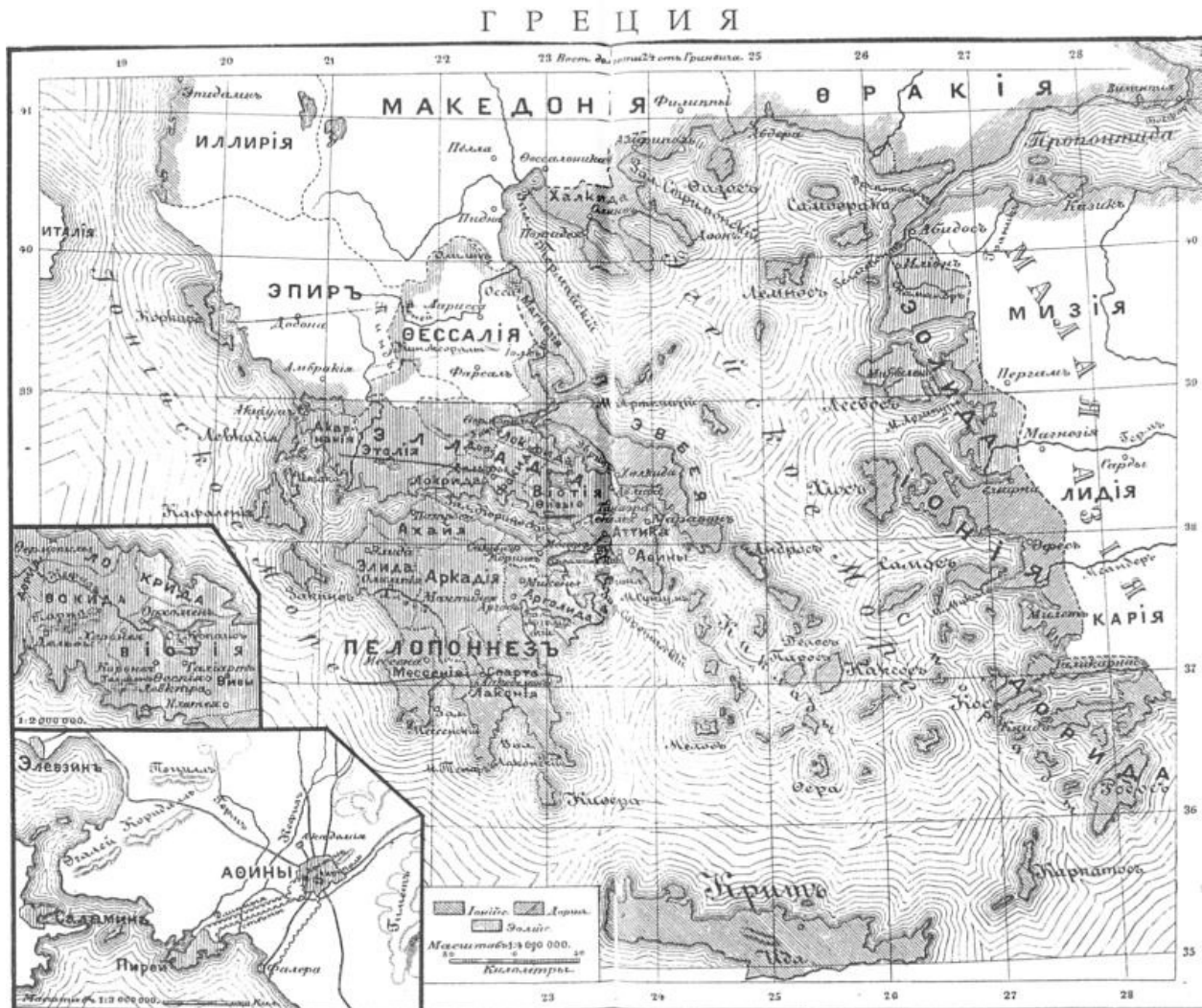
Вторая из его политических речей, произнесенная несколькими месяцами позже, делает нашему оратору гораздо больше чести и как человеку, и как политику, нежели первая. Поводом к ней послужил ложный слух о готовящемся нашествии персидского монарха, который, собрав будто бы большой флот в 300 кораблей и значительный контингент греческих наемников, решил жестоко наказать афинян за помощь, оказанную недавно мятежному персидскому сатрапу Артобазу. После первых моментов испуга афиняне перешли в воинственное настроение и стали требовать немедленного объявления войны; тогда выступил Демосфен и произнес речь, известную под названием “О симмориях”. Обрисовав совершенную неподготовленность афинян к какой бы то ни было борьбе как в силу общего упадка гражданских доблестей, так и ввиду военной их дезорганизации, оратор вместе с тем указывает на неосновательность слуха и тревог и тем успокаивает их. Он убеждает их, однако, быть готовыми к борьбе на всякий случай, и с этой целью рекомендует два средства, которые, исходя из реальных нужд жизни, навсегда остались под той или другой формой основными принципами его

политической программы. Он настаивает на необходимости определенного *modus vivendi* между отдельными государствами Греции, как базиса для совместного действия в случае нападения неприятеля на одно какое-нибудь из них, и желает, чтобы Афины во имя их исторических и культурных традиций, равно как и ввиду больших материальных сил, находящихся в их распоряжении, стали во главе движения в качестве инициатора и предводителя. Положение обязывает, думает он, и согласно с этим требует от своих сограждан особенных усилий в деле объединения Греции и специальных жертв с целью реорганизации их военного ведомства. Он указывает на “симмориальное” начало как на наиболее подходящий принцип, на котором может быть перестроено это последнее, и советует, чтобы те самые 1200 богатейших граждан, подразделенных на 20 частей – “симморий”, – которые были круговой порукой ответственны за правильное поступление государственных доходов, переняли в свое ведомство и военную кассу со всей связанной с нею организацией военного дела.

Советы эти, насколько нам известно, не были приняты, но практичность и целесообразность их не подлежит сомнению. Вместе с тем, однако, было бы ошибочно предполагать, что требование Демосфена относительно объединения разрозненных греческих общин исходило из каких-либо высших соображений, нежели те, которые подсказывались нуждами момента; во всяком случае, оно не было еще выводом из того панэллинистического принципа, который он проводил впоследствии: это мы ясно видим, между прочим, из того, что двумя годами позже, в 352 году, он убеждал народ не позволить Спарте забрать аркадский город Мегалополис исключительно на том основании, что в противном случае Спарта – этот старинный враг Афин – слишком окрепнет и станет чересчур опасным для них соперником.

Подобного рода непоследовательность, выразившаяся еще и в близоруко-неприятном отношении к Спарте, едва ли не самому могущественному государству Греции, тем более была неуместна и даже вредна, что как раз в это время на Грецию надвигалась гроза, для борьбы с которой необходимы были все ее наличные силы, объединенные в один общий и дружный союз. Давно уже на обложившем тучами горизонте сверкали зловещие молнии и раздавались глухие удары грома; но по странной, почти беспримерной в истории умственной аберрации даже наиболее проницательные люди того времени долго были не в состоянии измерить величину грядущей опасности, понять силу того урагана, который приближался с захватывающею дух быстротою и грозил разбить в щепки

все политическое строение Греции. Только тогда, когда это строение стало дрожать под напором вихря и отдельные части его стали падать одна за другою, как бы сокрушенные ударами тирана, увидели, наконец, люди опасность, к которой они неудержимо влеклись: они пытались было бороться, но – увы! – лишь затем, чтобы вскоре осознать свое бессилие и найти свою гибель под обломками разбитой Эллады.



Греция

Одним из таких людей был Демосфен, и, чтобы понять дальнейшую его карьеру и судьбу, нам необходимо сделать отступление и заняться описанием тех грозных событий, центром которых явился Филипп, царь македонский.

Этот человек, во многом похожий на Фридриха Великого, отличался умом, в котором ясность и дальновидность соединились с удивительной

осторожностью и методичностью, а недостаток воображения и широты мысли вознаграждался расчетливостью рассудка и беспримерным лукавством. Одинаково великий как дипломат и полководец, он умел быстро распознать слабые стороны своего противника, тщательно и подробно выработать план действия и медленно, но упорно, подобно искусному шахматному игроку, привести этот план в исполнение, пользуясь малейшим промахом врага, принимая во внимание все могущие возникнуть случайности и умея скрывать свои карты до последнего решительного момента. Он не был поэт войны, подобно своему сыну; он не поддавался обаянию грандиозных идей, не уносился страстью и энтузиазмом момента, но с хладнокровием и разборчивостью опытного практика, не идеализирующего ничего, но и не гнушающегося ничем, он намечал себе цели, если и не всегда широкие, то зато вполне достижимые, и с математической верностью приближался к ним, пуская в ход всевозможные средства – от знаменитой своей фаланги вплоть до золота и интриг включительно. Он вступил на престол в 359 году и через какие-нибудь два года успел не только отразить многочисленных врагов, угрожавших ему изнутри и извне, но и значительно расширить пределы Македонии за счет ее соседей. Этим, равно как и рядом административных и военных реформ, он поднял эту жалкую и полудикую страну, обиженную природою и гением, на степень сильнейшего государства на севере Балканского полуострова, но и этого было ему недостаточно: его зоркий ум рано увидел существенную важность для Македонии морского берега, без которого ее горное и пастушеское население, казалось, навеки осуждено было влачить свое варварское существование, и он решил пробиться к морю, готовый ради этого вступить в борьбу с греками – даже с Афинами, первую морскую державою своего времени. Он прежде всего останавливает свое внимание на Амфиполисе, цветущем городе на северном берегу Эгейского моря; но, зная, как давно уже зарятся на этот лакомый кусок афиняне, и имея поэтому основание опасаться с их стороны противодействия, он вступает с вождями их в тайные переговоры, предлагая завоевать для них этот город, если ему позволят занять другой – соседнюю Пидну. Афиняне, которым, очевидно, сильно понравилась мысль загрести немного жару чужими руками, охотно соглашались на такую не особенно благовидную сделку, и, когда осажденный Амфиполис обращается к ним с просьбой о помощи, отвечают грубым отказом. Тогда, в 357 году Филипп берет хитростью этот город и не только оставляет его за собою, но и забирает еще и Пидну, не дожидаясь, пока ему ее подарят. Обманутые афиняне вспыхнули негодованием на такое вероломство и,

несмотря на то, что руки их были связаны усмирением восставших союзников – Родоса, Хиоса, Коса и Византии, – объявляют Македонии войну. Видимо, они видели в лице Филиппа одного из тех незначительных соперников, которых у них так много было в самой Греции; во всяком случае, они не подозревали, что борьба, в которую они вступали с таким легким сердцем, окончится, после многих осложнений и перипетий, разрушением навсегда свободной жизни Эллады.

Демосфен разделял всеобщую ошибку: в его речах за этот период нет ни одного слова, которое давало бы нам основание думать, что он хоть сколько-нибудь понимал смысл происходивших перед его глазами событий. Он не видел его даже тогда, когда благодаря беспечности афинян и бездарности их полководцев лучшие афинские союзники стали мало-помалу переходить на сторону неприятеля, и такие важные военные и морские пункты, как Потидея, Абдера, Меронея и Мефона (последняя – единственно оставшееся и чрезвычайно ценное афинское владение на македонском берегу), попали в руки Филиппу. Но события 353 и 352 годов несколько вывели афинян и Демосфена из их заблуждения. Филипп около этого времени помогал одному мелкому государству, Фессалии, в войне против другого, столь же мелкого государства; так как последнее в свою очередь призвало на помощь фокийцев, то между Филиппом и Ономархом, талантливым вождем союзной армии фессалийцев и фокийцев, возгорелась борьба, которая после некоторых превратностей окончилась в пользу первого. Но на этом дело не остановилось. Фокийцы, в свою очередь, вели уже давно войну с Фивами: в 355 году они вспахали часть священного поля, принадлежавшего дельфийскому храму, и за это были осуждены Амфиктионийским союзом, который и поручил фивянам наказать их за святотатство. Естественно, что Филипп, уничтожив фокийскую армию в Фессалии, тем совершил богоугодное дело и мог даже претендовать на звание исполнителя приговора амфиктионийцев. Он как бы являлся защитником Аполлоновых интересов – особенно ввиду безуспешности, с какою фивяне вели до сих пор войну, – и имел право в качестве такового перенести военные операции в саму Фокиду с тем, чтобы уничтожить кощунство в его корне. Македонец был слишком умен, чтобы не заметить, какой отличный козырь попал ему в руки; он видел, что, стоит ему только проникнуть в Фокиду, – и эта страна, равно как и вся Средняя Греция с Аттикою и другими государствами, будет лежать у его ног. Но для этого ему нужно было сперва овладеть Фермопилами, этим ключом к Элладе и всей Греции, и к нему-то он двинулся с сильным войском. К счастью, афиняне не дремали: почуяв опасность, они искусной диверсией флота заняли этот

исторический проход и заставили Филиппа отступить в бессилии и на время отказаться от своих надежд на быстрое покорение Греции.

Как мало и тогда еще люди понимали, в чем дело, видно из речи Демосфена против Аристократа, которую он держал в 352 году, незадолго до нападения Филиппа на Фермопилы. Хотя эта речь – судебная, но в ней оратор касается и текущих политических событий и, между прочим, обращает внимание народа на поведение Филиппа. В ярких словах он рисует честолюбие его планов и двуличие его политики; он указывает на его лицемерные заверения в дружбе, на его обещания во время осады Амфиполиса, на его вероломство и захват Потидеи и других городов, и обзревает его карьеру вплоть до его успехов последнего времени. Но вместе с тем – и это характерно для прозорливости Демосфена, как и всех афинян, – оратор пренебрежительно отзывается о македонском царе как о незначительном противнике, с которым нетрудно было бы разделаться при небольших усилиях со стороны афинского народа: стоит только последним захотеть, и “этотмакедонский Филипп” будет отшвырнут далеко на север, в его жалкое и нищенское логовище!

Однако его следующая речь, произнесенная в 351 году, обнаруживает довольно крупную перемену в тоне. Филипп в это время успешно оперировал во Фракии, куда удалился при отступлении от Фермопил с двойною целью – овладеть этим важным краем и парализовать хлебную торговлю Афин с Византией. После некоторых чрезвычайно удачных маневров он осадил соседний с Херсонесом город и этим так встревожил афинян, что они вышли из своей обычной апатии и послали против него большой флот, вотировав для покрытия расходов чрезвычайный поимущественный налог в 60 талантов. Но энтузиазм продолжался недолго: в Афинах распространился слух о внезапной смерти Филиппа, и этого было достаточно, чтобы вернуть прежнее беспечное настроение и даже приостановить военные приготовления. Тогда-то, неожиданно для всех и даже не в очередь, выступает в народном собрании Демосфен и произносит свою великую речь – первую в знаменитой серии “Филиппик”. Языком, поразительным по своей точности и мелодичности, в котором пафос перемешивается с остротами и страсть чередуется с насмешкою, развертывает он полную драматизма картину борьбы с Филиппом – ее судьбы в прошедшем, ее вероятные осложнения в будущем, ее настоящий ущерб для Афин и ее грядущую опасность для всей Греции. Он то горько жалуется, то страстно упрекает народ в апатии, изнеженности и самодовольстве, и как на единственное средство избавления от опасности указывает на необходимость жертв, материальных и личных, и на замену



наемных орд регулярными армиями из самих граждан. Впечатление от речи было огромное – восхищению народа не было пределов, но так как дело шло о людях и деньгах, то на этом дело и кончилось: его предложения не были приняты, и афиняне продолжали кампанию по-прежнему – вяло, нехотя и спустя рукава.

Результатом этого были дальнейшие успехи Филиппа. В 349 году, спустя два года после вышерассказанных событий, он осадил Олинф на Халкидском полуострове, один из самых важных стратегических пунктов в Греции.

Осажденные обратились за помощью к афинянам, и по этому поводу Демосфен, пользовавшийся тогда уже значительной известностью в качестве великого оратора и зоркого политика, держал три речи, дошедшие до нас под названием олинфских. В первых двух – в 349 году – он с прекрасным пониманием дела определяет место, которое захват Олинфа занимает в общем плане Филиппа, рассматриваемом как одна обширная завоевательная схема; он рисует гибельные последствия, могущие произойти в случае падения Олинфа, и указывает с особенным ударением на то, что, если Олинф будет занят Филиппом, то ему откроется дорога в самую Аттику, которая таким образом сделается театром военных действий. Эти речи вместе с речами олинфских послов возымели некоторое действие: афиняне снарядили небольшую наемную армию в 2 тыс. человек и послали в Халкидские воды эскадру под начальством Хареса. Говорят, что этот полководец предпочел заниматься пиратством на Эгейском море как делом более прибыльным, нежели война; поэтому он был вскоре отозван и заменен Харидемом, который весной 348 года одержал несколько незначительных побед. Вероятно, афинян, искавших лишь предлога, чтоб вернуться к своему прежнему беззаботному состоянию, эти победы вполне удовлетворили, потому что мы вновь застаем Демосфена на ораторской трибуне упрекающим своих сограждан в недостатке выдержки и в неумении понимать происходящее перед их глазами. Он говорит им, что это не конец кампании, а начало ее, и, согласно с этим, требует чрезвычайных мер, неустанных усилий и непрерывных жертв. Он осмеливается даже указать на “теорикон” как на источник финансов и рекомендует назначение специальной комиссии для подробного обсуждения этого вопроса. На этот раз афиняне, действительно, взялись за дело, с давно уже небывалой энергией оснастили сильный флот из 50 трирем и послали к Олинфу армию из 10 тыс. наемников и 4 тыс. граждан. Увы! Помощь прибыла слишком поздно: в осажденном городе произошла измена, Олинф пал и был жестоко наказан (347 год).

Так закончился первый акт великой драмы, бесцветный по совершенному отсутствию каких бы то ни было драматических моментов, но все же многозначительный и многовещающий. Вместе с тем здесь оканчивается первый период деятельности Демосфена как политического оратора и государственного человека. Он понял, наконец, замыслы Филиппа, с одной стороны, и причины слабости своих соотечественников, с другой, и отныне вся его жизнь представляет одну сплошную, непрерывную борьбу как с одним, так и с другими.

Его частная жизнь за это время нам, к сожалению, весьма малоизвестна: за исключением нескольких анекдотов из Плутарха, все, что мы знаем о ней, мы почерпнули из его же речей, – а этот источник, как легко понять, особенным богатством не блещет. Мы знаем лишь, что адвокатура, а, как уверяют некоторые его враги, также и ростовщичество давали ему довольно большие средства к жизни, которые он тратил, главным образом, на завоевание популярности в народе путем образцового выполнения своих почетных повинностей вроде хорегий (постановки хоров) и триерархий (снаряжения кораблей). Вместе с тем, он вряд ли был любим как личность: отчасти это объясняется неприязнью, которую вызывали его постоянные упреки народу в отсутствии энергии и мужества, отчасти же – его личными недостатками – одними, как угрюмость и необщительность, врожденными, а другими, вроде корыстолюбия и недостатка самоуважения, благоприобретенными. Пресловутая его история с Мидием как нельзя лучше иллюстрирует некоторые из этих черт его характера, и мы поэтому коснемся ее вкратце.

Мидий был одним из богатейших и влиятельнейших граждан Афин, славившимся своей беззастенчивостью и самодурством. Друг Афоба, Демосфенова опекуна, он давно уже питал неприязнь к нашему герою, а однажды даже оскорбил его, его мать и сестру в их же доме. За это он был привлечен к ответственности и осужден к уплате большого штрафа; но приговор, несмотря на все старания Демосфена, не был приведен в исполнение, и сам судья, произнесший его, жестоко поплатился благодаря проискам влиятельного обидчика. Тогда началась кампания против самого оратора. В 354 году Демосфен, тогда уже видная политическая фигура, собирался на предстоящих празднествах Дионисия порадовать народ великолепным хором, и Мидий, бывший в это время начальником конницы, пробовал было помешать этому, вытребовав, по случаю экспедиции на Эвбею, Демосфеновых флейтистов в действующую армию. Но это ему не удалось – Демосфен выхлопотал себе и своему хору увольнение, и Мидий прибегает к другим мерам: он ночью вламывается в дом ювелира и портит

все золотые одеяния и венки, которые тот изготавливал для Демосфенова хора, он склоняет на свою сторону хормейстера и подкупает председательствовавшего архонта и жюри с тем, чтобы лишить Демосфена приза. Наконец во время самого представления он, не стесняясь многотысячной публики, бросается на эстраду к Демосфену, срывает с него праздничные украшения и избивает его. Цель была достигнута: Демосфен провалился и приз не получил.

Но такое публичное оскорбление наш оратор не мог стерпеть. На следующий же день он выступил с формальным обвинением против Мидия в народном собрании и получил на него так называемое “проболэ” – предварительный приговор. На основании его он вошел с жалобой к тесмотэтам (судьям по гражданским делам) и начал процесс против Мидия за оскорбление. Последний пробовал было войти в любовную сделку, но, встретив отказ, при помощи ложных свидетелей и подкупов так затянул и затемнил дело, что после четырех лет волокиты Демосфен вынужден был в малодушии отступить. Хуже всего то, что он принял при этом от Мидия 30 мин в виде отступного и тем самым запятнал свою репутацию как частное лицо.

Эта пошлая история чрезвычайно ярко характеризует дикие нравы того времени; но мы не стали бы ее приводить, если бы недостойная роль, которую сыграл при этом Демосфен, не повредила ему в глазах современников и не оттолкнула от него даже тех из них, кто на его месте вел бы себя не лучше.

## Глава II

*Настроение в Афинах после падения Олинфа. – Партия мира, Эсхин и Фокион. – Первое посольство к Филиппу, условия мира и участь фокийцев. – Второе посольство и заключение мира. – Разгром Фокиды и негодование афинян. – Речь Демосфена “О мире”. – Процесс с Эхином. – Речи соперников и результат. – Дальнейшая деятельность Демосфена и агитация в пользу возобновления войны. – Речи “О Херсонесе” и третья Филиппика. – Начало войны. – Взятие Филиппом Элатеи и впечатление в Афинах. – Союз с Фивами и Херонейское поражение. – Мужественная политика Демосфена и мир с Филиппом. – Почести Демосфену. – Смерть Филиппа. – Неудачные восстания Греции. – Господство македонофилов. – Дело о венке. – Речь “О венке” и изгнание Эхина. – Гарпаллов процесс, осуждение Демосфена и вопрос о виновности его. – Третье восстание Греции и возвращение Демосфена. – Поражение при Краноне, бегство и смерть Демосфена. – Личность Демосфена. – Демосфен как политический мыслитель и практический государственный деятель. – Красноречие Демосфена, его особенности, характер и элементы*

Падение Олинфа было сигналом к началу мирных переговоров. Давно уже афиняне чувствовали усталость от долголетней борьбы, но теперь к этому присоединилось еще и то обстоятельство, что в руки неприятеля попало множество пленников, которых надлежало выкупить, и что сам Филипп стал делать авансы, имея в виду обезоружить афинян ласками и отвлечь их внимание от Фермопил. Тяготение к нему все более усиливалось, и этому настроению в значительной степени содействовала возникшая около того времени новая политическая партия, известная под названием македонофильской. Сложившись на почве реальных интересов, для которых не было помехи хуже войны, эта партия первоначально поставила своим девизом “мир во что бы то ни стало”, а затем, ввиду того, что единственным врагом Афин был в это время македонский царь, постепенно перешла к агитации за прекращение враждебных действий против Филиппа и за заключение с ним союза. Этим она, естественно, играла на руку лукавому македонцу, парализуя всякие патриотические стремления и усилия к борьбе: некоторые из ее членов даже открыто продались Филиппу, получая от него инструкции и деньги; тем не менее, среди ее членов было много честных и искренно убежденных людей,

которые верили в свою политику как в единственно верную и благотворную для Греции. В этой партии по своим достоинствам и нравственным качествам особенно выделяются два человека, которые представляют обе только что упомянутые категории. Один из них был Эсхин, наиболее блестящий после Демосфена оратор, но во всем ему прямая противоположность. Незнатного происхождения, шестью годами старше своего соперника, он одною силою своего таланта и энергии добился огромного влияния на народ, пройдя через ряд унижительных, по тогдашним понятиям, профессий и занятий, – он работал актером, школьным учителем и писцом. Атлет, с величественной фигурой, мощным голосом и необыкновенной способностью говорить экспромтом, он сразу увлекал за собою публику, он был способен одним словом успокоить бушующее море народного собрания или взволновать его и вывести из апатии. Его речи не отличались ни достоинством и строгостью формы, ни честностью и искренностью содержания; но страстный, неудержимый поток его красноречия, не останавливающийся ни перед вульгарностью, ни перед ложью, нравился простому народу иной раз больше, нежели художественная, строго уравновешенная и тщательно отделанная речь Демосфена. Начав с оппозиции Филиппу и попытавшись даже составить против него в 347 году коалицию из пелопоннесских государств, Эсхин вскоре убедился, что такая роль вряд ли может окупиться, и, быстро переменяя фронт, вступил в ряды македонфильской партии, и впоследствии сделался тайным эмиссаром и доверенным македонского царя.

Не таков был другой из вождей партии мира – Фокион. Этот человек был последний представитель того типа древнего грека, который, не специализируя ни своих способностей, ни своих занятий, умел одинаково хорошо владеть мечом и словом и был столь же образцовым в своей частной, как и в политической жизни. Отличаясь в эту эпоху безвременья и корысти талантами не менее чем бедностью, своими неподкупностью, серьезностью и справедливостью, он внушал народу такую любовь и уважение, что 45 раз был избираем в стратеги, – честь, которой не удостоился и сам Перикл. Он никогда не смеялся, не плакал, но с грубоватым хладнокровием честного солдата, пренебрежительно относящегося к внешностям, исполнял свой долг, невзирая ни на какие препятствия, не останавливаясь ни перед какими соображениями о популярности и тому подобном. Его красноречие было такое же, как и он сам: не терпящие никаких украшений, но проникнутые искренностью и честностью мысли, его речи по своей прямоте, сжатости и сильной логике

представляли опасное для соперника орудие, которое способно было проникать в самое сердце его аргумента и расщеплять его подобно стальному клинку, вонзившемуся в ствол. Недаром сам Демосфен избегал меряться с ним оружием, зная, что его острый язык “так и пронизывает вас насквозь”.

Вот эти два человека и были предводителями македонофилов, и благодаря влиянию, главным образом, этих людей и было отправлено к Филиппу посольство с Демосфеном и Эксином во главе с целью договориться об условиях мира. Оно было принято в торжественной аудиенции, и блеск обстановки и вид могущества царя, говорят, так подействовали на Демосфена, что, когда очередь говорить дошла до него, он потерял нить своих мыслей, запнулся и принужден был сконфуженно умолкнуть, несмотря на благосклонные ободрения монарха. В точности мы не знаем ни этих речей, ни ответа Филиппа; нам лишь известно, что условия, которые он поставил, сводились в сущности к формуле *uti possidetis*, – каждый остается при своем; он не соглашался даже вернуть Амфиполис, отнятый обманом, и взамен этого лишь обещал в духе щедринаского волка не трогать Херсонес. По-видимому, однако, посольство осталось этими условиями довольно, и сам Демосфен, по возвращении в Афины, предложил в сенате наградить послов гражданскими венками и почтить их публичным банкетом в пританее. Народ же охотно вторил ликованию своих вождей и в двукратном, специально созванном на то собрании не только согласился на требуемое *status quo*, но еще уступил по другому, более важному пункту, который вновь прибывшие в город послы от Филиппа выдвинули теперь как необходимое условие заключения мирного трактата. Дело касалось злополучных фокийцев, которых македонский царь, все еще не отказываясь от мысли завладеть Фермопилами, а затем самой Фокидой, ни за что не хотел включить в трактат в качестве афинских союзников. Напрасно Демосфен и другие указывали на то, что исключение этих старых друзей из числа договаривающихся сторон не только составит страшную несправедливость, но и поведет за собою гибель Фокиды, а за нею и всей Эллады; напрасно предсказывали они, что, связав афинян по рукам и по ногам договором, Филипп не преминет напасть на Фермопилы, которые фокийцы не в состоянии будут защитить одними собственными силами. Их слова не встречали сочувствия среди всеобщей жажды скорейшего мира и ввиду противодействия со стороны Эксины и его друзей: македонофилы распускали слухи, что Филипп питает к фокийцам тайные симпатии, которые обнаружатся, как только договор будет заключен. Последние взяли

верх, и после некоторого раздумья афиняне отrekliсь от фокийцев, заключив договор в той форме, в какой желал его иметь Филипп. Этим совершенно было вероломство, беспримерное в летописях Греции: оно легло несмываемым пятном на репутацию великого афинского народа как одно из самых чудовищных преступлений, какое когда-либо совершало политическое общество. Мы вскоре увидим и практические последствия, к которым оно привело, а теперь вернемся к судьбе злополучного трактата.

Дело происходило раннею весною 346 года, и афиняне, приняв все условия договора, назначили новое посольство к Филиппу с тем, чтобы и он принес должную присягу. Время было горячее, – нужно было обязательно поспешить, так как в противном случае Филипп, действовавший тогда во Фракии, успеет захватить Херсонес и другие города, а затем откажется возвратить их, ссылаясь на status quo договора, входившего в силу только после его ратификации. Но напрасно Демосфен, предвидевший возможность таких осложнений, настаивал на немедленном отъезде: Эсхин и его единомышленники, действуя по инструкциям Филиппа, находили всяческие способы оттягивать поездку и, наконец, когда тронулись в путь, отправились сухим путем в Македонию вместо того, чтоб ехать морем прямо к Филиппу во Фракию, что заняло бы всего пять-шесть дней. Потратив на дорогу полтора месяца и не застав, конечно, царя в столице, посольство ждало еще шесть недель, пока Филипп, устроив все свои дела, не вернулся в Македонию и стал готовиться к походу на Фокиду. Подготовившись и к этому, он, наконец, удостоил трактат своей подписью в то время, как его войска уже были на юге Фессалии, на расстоянии каких-нибудь трех дней пути от исторических Фермопил.

Дальнейшие события легко можно было предвидеть. Покинутые фокийцы, не будучи в состоянии защитить проход без помощи афинского флота и вместе с тем полагаясь на заверения афинян в доброжелательстве Филиппа, сдают ему без боя Фермопилы, а с ними и всю свою страну. Войдя в нее, неприятель сбрасывает маску, заявляет свои симпатии фивянам и провозглашает Фокиду частью Македонии. Разгром был страшный – все было разрушено дотла, так что, когда Демосфен проезжал по той местности двумя годами позже, его взорам представился вид неопишемого горя и страданий. Сам Филипп, по-видимому, устранился своей работы и позднее взваливал всю вину на фивян, но напрасно: сделавшись почти неограниченным властелином Греции, он мог одним словом приостановить мстительные порывы врагов Фокиды. Он этого не сделал, – и вся пролитая кровь, все неслыханное насилие пали на его голову несмываемым позором, неискупляемым проклятьем.

Что в это время происходило в Афинах, можно себе представить без труда. Подобно внезапному раскату грома, разнеслась по городу злая весть о падении Фермопил и участии фокийцев: потрясение было огромно. В ярости и ужасе афиняне готовы были порвать только что заключенный трактат и объявить Филиппу войну; но Демосфен успокоил их речью “О мире”, в которой указывал на нелепость негодования за катастрофу, в которой они, афиняне, сами виноваты, и доказывал безумие воинственных проектов в виду тяжелого и изолированного положения государства. Афиняне притихли, внимая этим трезвым словам, и мир не был расторгнут вплоть до 340 года.

Предсказания Демосфена, таким образом, сбылись до буквы, и теперь, когда народ воочию убедился в правоте его мнений, его политика и взгляды, казалось, должны были бы приобрести преобладающее влияние на политическую жизнь Афин; к сожалению, этого не произошло. Когда миновала опасность, народ, убаюкиваемый благами мира и очарованный лестью Филиппа, вернулся к прежней своей беспечности и продолжал следовать советам македонофилов, уделяя речам Демосфена лишь платонические аплодисменты. Это ясно видно из его отношения к процессу, который наш оратор возбудил против Эсхина и его товарищей за их изменническое поведение во время второго посольства. Лишь только оно, в июне 346 года, вернулось обратно, Демосфен, который тогда был сенатором, немедленно изобличил в сенате роль Эсхина, а затем и начал против него процесс, обвиняя его в корыстолюбии и предательстве. Благодаря могущественным связям Эсхина и его единомышленников дело затянулось на целых три года, и только в 343 году состоялся разбор его, привлекая со всех концов Греции несметную публику. Речь, которую Демосфен произнес по этому случаю, не принадлежит, однако, к лучшим образцам его ораторского искусства: за исключением тех полных огня и страсти мест, где он описывает общественные язвы Греции и бичует ее раболепие перед Филиппом, она отличается монотонностью, частыми повторениями и даже вялостью; ее аргументы слабы, ее доводы малообоснованны, и можно было видеть сразу, что, за отсутствием документальных и других фактических доказательств, оратору нелегко было построить на одних догадках – правда, весьма правдоподобных, – обвинительный акт с надлежащей компактностью и силой. Эсхину поэтому нетрудно было опровергнуть пункт за пунктом справедливые нападения Демосфена, и после блестящей защиты он был признан невиновным большинством при тогдашнем многочисленном составе суда, впрочем, незначительным – в тридцать голосов.



Общественное мнение, таким образом, довольно решительно встало на сторону македонофила, заведомо продавшегося Филиппу; но преданность Демосфена народному делу от этого не уменьшилась. Игнорируя понесенную им обиду, он с тою же неослабною энергией продолжает борьбу против врага своей заблудшей родины и то объезжает Пелопоннесе, агитируя за союз против Македонии, то увещевает своих сограждан быть ежеминутно готовыми к возобновлению военных действий. Он в сотый раз изобличает коварство Филиппа, на каждом шагу нарушающего договор своим беспрестанным и насильственным вмешательством во внутренние дела Греции, и разбивает вдребезги аргументы знаменитого ратора Пифона Византийского, приехавшего в качестве чрезвычайного посла от Македонии с целью оправдать поведение царя. Он поддерживает предложение своего товарища Гегезиппа и советует афинянам хлопотать о внесении некоторых существенных изменений в трактат 346 года, с тем, чтобы в него были включены все без исключения греческие государства, чтобы каждому из них была гарантирована независимость и свобода и чтобы вообще каждая сторона владела тем, что ей принадлежит по праву. Под последним, неопределенным пунктом он и его товарищи подразумевали возвращение Филиппом только что захваченного им острова Галонеза, но как по этому, так и по первым двум пунктам афиняне получили решительный отказ. Тогда Демосфен, предвидя, что дальнейшие проволочки неминуемо повлекут за собою полнейшую изолированность Афин, у которых Филипп, прикрываясь трактатом, отнимал одни владения за другими, стал открыто агитировать в пользу возобновления войны. В 341 году, воспользовавшись негодованием афинян на своего полководца Диопита, начавшего, без их разрешения, военные действия, он произнес две замечательные речи – “О Херсонесе” и III Филиппику, – в которых показал, что истинным нарушителем мира был сам Филипп, ни на минуту со времени заключения договора не прекращавший военных операций. Он в пламенных красках изобличает его поведение за последние годы и с пафосом и горячим негодованием рисует этого коварного врага, который грозит своими ласками задушить весь эллинский мир. Он увещевает поэтому своих сограждан не скупиться на жертвы, личные и материальные, и рекомендует употребить для военных целей праздничную кассу – теорикон – и новый поимущественный доход.

Старания Демосфена на этот раз увенчались успехом, и война Филиппу была объявлена. В начале афиняне побеждали, но возгоревшаяся вскоре II Священная война снова дала македонянам решительный перевес. По настоянию Эсхина, амфикиционный союз объявил войну жителям

Амфиссы, на юге от Фокиды, за вспашку полвека назад Аполлонова поля, и исполнение приговора было возложено на Филиппа как на самого талантливого полководца. Македонцу это было как раз на руку: во главе небольшого, но сильного и преданного войска он проходит форсированным маршем Фессалию, проникает в Фокиду, все еще лежавшую в развалинах, и здесь вместо того, чтоб идти на Амфиссу, сворачивает к Элатее, главному городу этой местности, и превращает его при помощи укреплений и гарнизона в неприступный военный пункт. Оттуда он посылает сказать фивянам, что идет на Афины, и предлагает им либо соединиться с ним, либо пропустить его через их территорию. Такая неожиданная диверсия глубоко поразила всех, а особенно афинян: весть об этом, как передает Демосфен, дошла туда вечером, и пританы, сидевшие за ужином, немедленно встали из-за стола, забили тревогу, позвали стратегов и, прогнав народ из базарных лавок, зажгли лотки для скорейшей очистки площади. Рано утром на следующий день, когда пританы не успели еще обсудить дело в сенате, все места на Пниксе были уже заняты взволнованным народом, не знавшим, что предпринять. Собрание наконец открылось, но, несмотря на многократный вызов глашатая, никто не осмеливался встать и обратиться к народу с советом или ободрением. Все взоры обратились на Демосфена, и великий патриот, среди общего гробового молчания, встал и произнес речь. К вечному нашему сожалению, она до нас не дошла, но мы знаем, что сущность ее сводилась к тому, чтобы помешать фивянам соединиться с царем. Демосфен сам с девятью согражданами отправляется к старинным врагам Афин и, после долгой борьбы с македонскими послами, ценою тяжелых жертв заключает с фивянами оборонительный и наступательный союз. Радость афинян была так же велика, как и ярость Филиппа, но события вскоре показали, что и та, и другая были неосновательны. К союзной фивано-афинской армии не пристала ни одна первоклассная военная держава Греции, у нее не было ни одного талантливого полководца, и главное командование перешло к Демосфену, который понимал в военном искусстве несравненно меньше, нежели в судебных тяжбах. Надеясь на свои силы, он отослал на помощь Амфиссе отряд в 10 тысяч человек, и Филипп сразу получил перевес. Быстрым движением опередил он этот отряд, взял штурмом Амфиссу и немедленно же отправился навстречу главной греческой армии, поджидавшей его на границах Беотии. Здесь, в долине Херонейской, и произошла вавгусте 338 года знаменитая битва, отдавшая в руки македонскому царю всю Грецию. Тысячи убитых и раненых остались на поле сражения, сам Демосфен бежал, а с ним и два других полководца.

Фивы были взяты и разрушены, жители их казнены, либо проданы в рабство, и Афины сами стали дрожать за свою участь. К счастью, в эту трудную минуту Демосфен успел поднять упавший дух народа и пламенными речами пробудил в нем деятельность и стойкость. С небывалым энтузиазмом стали афиняне готовиться к последней борьбе, решившись скорее умереть на поле брани, нежели разделить печальную участь своего союзника: по совету и указаниям своего испытанного вождя, который никогда не был так велик, как в эту критическую минуту, они принялись за укрепление стенами своей гавани Пирея, превратили храмы в оружейные мастерские, объявили всеобщую конскрипцию и вооружили даже рабов и метеков (поселенцев). Эта решимость несколько устрасила Филиппа: он принял примирительный тон, предложил возвратить им без выкупа 2 тысячи пленных и город Ороп, некогда отнятый у них фивянами, и потребовал взамен лишь гегемонии для себя и своих преемников на всю Грецию и на вечные времена. Афиняне согласились, и тем спасли если не свободу свою и независимость, то, по крайней мере, свой город и свою страну.

Этим они обязаны были всецело Демосфену, и афинский народ наконец оценил по достоинству патриотизм и заслуги своего великого вождя, чьим словам он так долго внимал с таким оскорбительным равнодушием. Как бы раскаиваясь в своем прошлом, он осыпал его теперь величайшими почестями, поручив ему в 337 году печальную, но высокую обязанность произнести надгробную речь над павшими в Херонейском бою и постановив отпраздновать тризну в его доме...

Проходят два года, окутанные непроницаемым мраком, и только с 336 года возобновляются наши сведения о жизни Греции и ее героя. В этом году был убит Филипп, и Демосфен, получив известие об этом неожиданном и радостном событии раньше своих соотечественников, снимает с себя траурную одежду, которую он носил по скончавшейся неделю тому назад единственной своей дочери, и в белом праздничном одеянии, увенчанный цветами, является в народное собрание и поздравляет сограждан со смертью врага и тирана. Он произносит панегирик цареубийце Павзанию и выражает надежду, что греки сумеют воспользоваться благоприятным моментом, чтобы свергнуть иноземное иго. Правда, на престоле Македонии воссел другой царь; но то был, как считали, мальчик, связанный по рукам и ногам внутренними смутами и, наверное, предпочитающий заниматься скорее празднествами, нежели военными походами. Но Демосфен жестоко ошибался: в два месяца этот “мальчик” Александр уладил семейные и государственные неурядицы и,

явившись неожиданно в Греции, привел ее сразу и без борьбы к покорности.

Вторая попытка к восстанию была еще менее удачна. На добытые Демосфеном у персидского монарха деньги афиняне повсюду стали образовывать тайные организации, рассылать эмиссаров и развозить оружие, и в 335 году Фивы первыми подняли знамя мятежа. Но движение было преждевременно: не успели еще фивяне разделаться с македонским гарнизоном, расположенным в их цитадели, как под стенами их явился внезапно Александр и, получив отказ на требование капитулировать, взял город приступом. Моментально все государства, в том числе и Афины, поспешили с заявлениями своих верноподданнических чувств; но Александр потребовал выдачи всех главарей национальной партии – Демосфена, Ликурга, Гиперида и семерых других. Трепет объял греков, поставленных перед такой дилеммой: Фокион от имени своих друзей требовал повиновения царскому приказу, утверждая, что участь государства важнее участи его отдельных граждан, а Демосфен настаивал на отказе, напоминая афинянам басню о волке, который потребовал от овец выдачи собак, как необходимое условие мира, а потом перегрыз стадо. Его мнение взяло верх, и к Александру было послано посольство с просьбой о пощаде. Царь долго упорствовал, но второе посольство, предводимое благородным и дружественно к македонянам расположенным Фокионом, умиротворило его, и он согласился заменить выдачу упомянутых вожаков остракизмом двух наименее важных из них.

Так плачевно окончилась вторая попытка греков свергнуть македонское владычество, и Греция перестала существовать как самостоятельный политический организм. Тем не менее, ее лучшие люди не отказывались еще от своих надежд: одни уехали в Персию, чтобы воевать против Александра, а другие, в том числе и Демосфен, остались в Афинах и по-прежнему продолжали трудиться над упорядочением финансов, переустройством морского и военного дела и поддержанием в народе мужества и революционного духа. Мы вскоре увидим плоды этих усилий, а теперь обратимся опять к нашему герою, которому предстояло еще пройти через ряд побед и унижений, прежде чем умереть.

В 334 году Александр, усмирив Грецию, отправился на Восток, где и пробыл все остальные одиннадцать лет своей жизни. За то время преобладающее влияние в политической жизни Греции получили македонофилы, и в волнах наступившей реакции погибли одни за другим наиболее выдающиеся патриоты того времени. Демосфен также не был оставлен в покое: начиная с 338 года, со времени Херонейского сражения,

он становится предметом непрерывных нападений и доносов, но все попытки погубить его разбивались о здоровые инстинкты народа, теперь впервые ясно осознавшего события. Македонофилы наконец решили поставить на карту весь свой престиж и выдвинули против Демосфена своего талантливейшего оратора Эсхина. Это произошло по поводу предложения некоего Ктезифона, родственника нашего героя, наградить Демосфена золотым венком за его гражданские заслуги до, а особенно после Херонеи, когда он один, среди всеобщего уныния и малодушия, настаивал на дальнейшем ведении войны и тем спас страну от неминуемого разгрома. Это-то предложение Эсхин опротестовал как незаконное: оно было сделано не в надлежащее время и мотивировано заслугами Демосфена, которые никоим образом не могут быть признаны за таковые. Вопрос поэтому должен быть обсужден в суде, прежде чем он может быть отдан на рассмотрение в народном собрании.

Эсхин, однако, понимал всю важность делаемого шага и потому решил действовать осторожно, стараясь выждать момент, когда формальное нападение было бы сопряжено с наименьшим риском; он не доводил дело до суда целых шесть лет, пока усиление реакции в 330 году как следствие героической, но неудачной попытки Агиса Спартанского к восстанию, не показало ему, что наступило время нанести удар. В назначенный для рассмотрения Ктезифонова предложения день со всех концов Греции стеклось множество народа, чтобы присутствовать при состязании двух знаменитейших ораторов своего времени и двух ярых противников, которые уже не раз мерялись силами, но которые теперь решили либо пасть, либо погубить друг друга.

Первым выступил Эсхин и в своей обвинительной речи, полной резкостей и инсинуаций, на которые он был несравненный мастер, очертил всю жизнь Демосфена чуть ли не с колыбели, обрисовал его пороки в самом неприглядном свете, рассмотрел его политическую карьеру до последних моментов и указал на промахи, которые он сделал в качестве государственного деятеля. Он втаптывает в грязь частный характер Демосфена и клеветает на его патриотизм, обвиняя его в подкупности и раболепии перед Македонией; он делает Демосфена виновником всех бедствий государства и старается показать, что он умышленно упускал моменты, когда афиняне легко могли бы спастись. Его речь, ядовитая и страстная, но все же великолепная, оказала сильное впечатление на слушателей, но ответ Демосфена круто повернул мнения судей в противоположную сторону. То была знаменитая речь “О венке” – величайшая, какая когда-либо выходила из уст человека. Решительно

невозможно передать здесь содержание этого колоссального произведения хотя бы в сжатой форме: то защищаясь от нападков, то, в свою очередь, нападая, то возвышаясь до поразительного пафоса, то опускаясь на самое дно шаржа и карикатуры, чередуя гнев и остроты, угрозы и насмешки, увещания и оскорбления, выражаясь то метафорами, то парадоксами, оратор обозревает всю свою жизнь и публичную карьеру, стараясь показать чистоту своего характера и патриотизма и благотворность своей деятельности. Он защищает политическую программу, на проведение которой он посвятил свою жизнь, и доказывает, как полезна она могла быть для афинян, и как губительна для македонян. Он сознается, что планы его не удались, но он утверждает, что это случилось не по его вине, а по вине его сограждан, – а главное, тех из них, чьим представителем является Эсхин. Он рисует при этом грустные картины состояния Греции и ее гражданской нравственности, язвительно бичует всех тех, которые пользовались всеобщей деморализацией для того, чтобы продать свою родину, и выставляет свои заслуги в деле изыскания средств для борьбы с врагами как внешними, так и внутренними. Словом, перед нашими взорами проносится вся эпоха, в которую пришлось действовать Демосфену, – со всеми ее героями и событиями, войнами и интригами, победами и поражениями, и среди всей массы аргументов, фигур и картин ясно выделяются личности оратора и его соперника, как два резких контраста, выбор между которыми не может затруднить ни одного любящего свое отечество... Демосфен одержал решительную победу: Эсхин не только проиграл, но даже не получил достаточного числа голосов, необходимого для защиты от действия закона о недостаточно обоснованных и недоказанных обвинениях, – он не имел за собою и пятой части всех голосов и должен был пойти в изгнание, где и прожил до конца своих дней.

Так неожиданно сошло со сцены одно из главных действующих лиц того времени, чья общая испорченность и политическая продажность являются достойными выразительницами морали века. Государственные люди Греции, как мы знаем, далеко не всегда отличались высокой нравственностью и патриотизмом; но среди них мы вряд ли найдем другого, который по своему циничному отношению к самым элементарным требованиям политической этики мог бы сравниться с Эсхином. Можно себе поэтому представить, какой вздох облегчения вызвало его изгнание в груди патриотов, а в особенности у того, чьей помехою он являлся на каждом шагу в его общественной и ораторской деятельности. В Эсхине Демосфен избавился теперь от противника, который более чем кто-либо другой содействовал разрушению его планов: македонофильская партия,

правда, еще не исчезла, но, потеряв своего наиболее даровитого вождя, она потеряла и свой умственный престиж, а потому и влияние на народную мысль. Демосфен мог бы отныне с большей уверенностью в успех своих усилий заняться делом возрождения Греции к свободе, если бы внезапный случай не положил на некоторое время предел его деятельности и не вверг его в бездну страдания и позора.

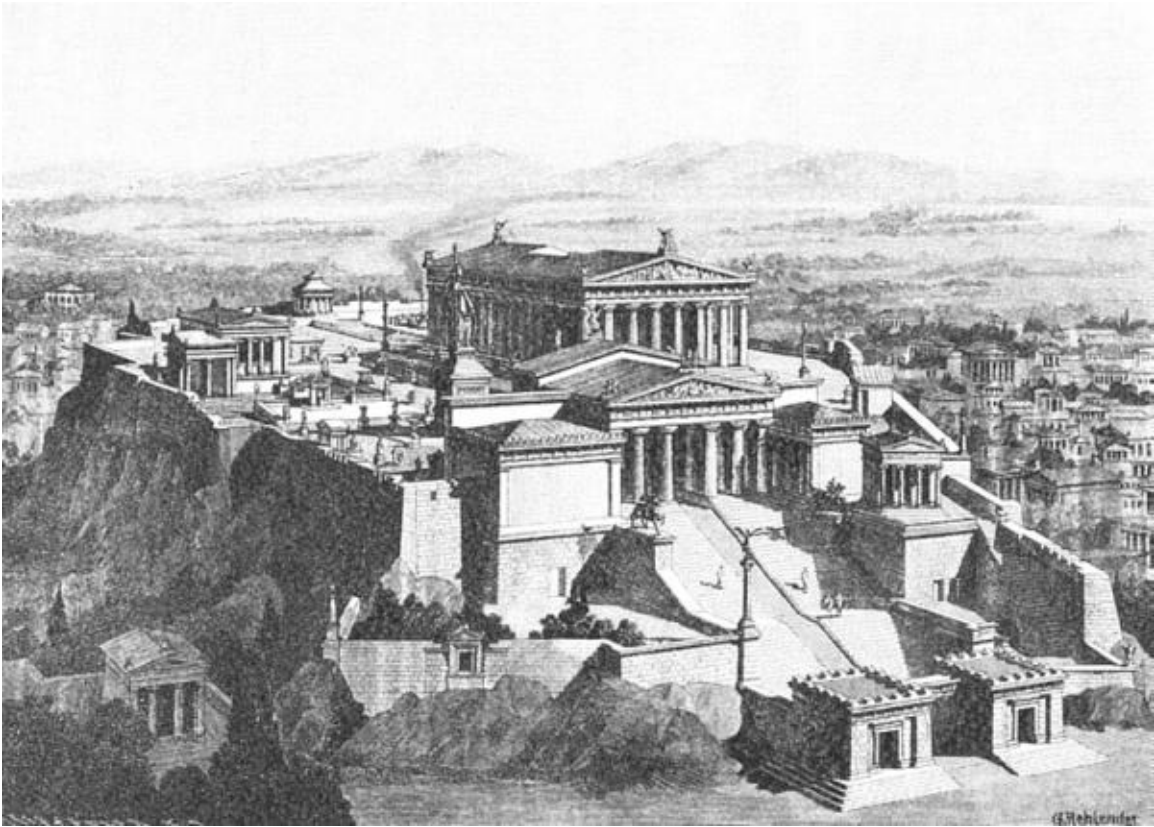
Мы имеем в виду знаменитый Гарпаллов процесс. Сатрап Сирии и Вавилона Гарпалл в отсутствие Александра присвоил себе его сокровищницу и явился в Афины, где стал привлекать на свою сторону членов национальной партии, постоянно нуждавшейся в деньгах на организацию восстаний. По предложению Демосфена, его наконец заключили в темницу, и деньги – свыше семисот талантов, как заявил сам Гарпалл, – были отобраны и помещены на хранение в Акрополь. Спустя некоторое время Гарпалл бежал, а казначеи секвестрованных сумм объявили крупный недочет. Стали думать и гадать, когда и кем были расхищены эти деньги, и наконец остановились на Демосфене и его товарищах, которые не раз получали от Гарпалла крупные суммы. Кстати же вспомнили, что Демосфен, назначенный членом комиссии по надзору за деньгами, долго скрывал декларацию, сделанную Гарпаллом относительно количества привезенных им в Афины денег, и, по предложению самого же оратора, передали дело на исследование ареопагу. Между прочим объявилась счетоводная книжка преступного сатрапа, но в ней имени Демосфена как получателя денег не оказалось. Тем не менее, когда после шестимесячного тайного обсуждения и дознания ареопаг обнародовал список провинившихся в этом деле горожан, в нем фигурировал на первом плане Демосфен со взяткою в 20 талантов. Народ был ошеломлен, и на суде наш оратор был присужден к уплате тяжелой пени в 50 талантов, а за неимением ее – к тюремному заключению.

История эта очень темная, и лучшие авторитеты, такие, как Грот или Шеффер, признают приговор суда несправедливым. Конечно, у нас нет достаточных фактов для категорического решения вопроса в ту или другую сторону: даже протокол ареопага до нас не дошел, ибо никогда не был обнародован; но все – и бескорыстный патриотизм Демосфена, и личный состав ареопага, набиравшегося из богатых коммерческих классов, – заставляет нас видеть в осуждении Демосфена один лишь подвох македонофилов. Два пункта, однако, следует отметить в связи с этим процессом как говорящие против нашего оратора: во-первых, против него высказались и Гиперид, его друг и политический сподвижник, и публичный народный суд, уважавший его заслуги; во-вторых же, он сам признался на

суде, что взял из Гарпалловых сумм 20 талантов. Правда, он при этом объяснял, что эти деньги следовали ему из государственного казначейства за аванс, сделанный им незадолго до этого теорикону; но, с одной стороны, кто поручится нам, что Демосфен говорил правду, а не дал первое всплывшее ему на ум объяснение? Тогда зачем бы он старался скрывать свой поступок, как он несомненно делал? С другой стороны, если объяснение, данное им, верное, то оно – очень плохое оправдание: оно освобождает его от одного обвинения и возводит на него другое, не менее тяжелое, а именно – в присвоении государственного имущества без разрешения, в злоупотреблении доверием, в незаконной растрате. Дело поэтому вовсе не так гладко обстоит, как это принято думать: брал же Демосфен на партийные нужды средства у персидского монарха; отчего же не мог он их взять для той же цели у Гарпалла?..

Демосфен был заключен в тюрьму, но вскоре оттуда бежал, и тем, казалось, навсегда подорвал свою репутацию как человека и гражданина. События, однако, решили иначе. В 323 году умер Александр, и Греция как один человек восстала с замечательным единодушием и энтузиазмом. В эту минуту, когда, казалось, новые надежды расцвели в сердцах людей и новая заря блеснула на сумрачном дотоле горизонте, народ, естественно, вспомнил о том, кто в прежние годы вдохновлял его своими дивными речами и не раз указывал путь к победе. Демосфен вот уже несколько месяцев жил в изгнании – главным образом, на острове Эгина: одинокий и всеми покинутый, он, однако, не разочаровался ни в своих идеалах, ни даже в своих согражданах, и, как только донеслись до него слухи о национальном пробуждении, он со всем своим прежним увлечением бросился на помощь новому движению, примкнув к посольствам, разосланным по Пелопоннесу, и по-прежнему призывая народ к объединению, к борьбе, к свободе. Тогда, по предложению Дамона, родственника оратора, афиняне решили вернуть его из ссылки и послали за ним в Эгину государственную трирему. Весь народ с архонтами во главе вышел навстречу возвращавшемуся патриоту, и весь путь от Пирея до Афин был одним триумфальным шествием. При восторженных криках народа, среди общего шума рукоплесканий и музыки счастливый Демосфен в цветах и праздничном одеянии взошел на Акрополь, чтоб воздать хвалу и благодарность бессмертным богам и народу. Это был самый светлый день в его жизни, как свидетельствовал со слезами на глазах сам Демосфен; но увы! – счастье продолжалось недолго. Надеждам греков и на этот раз не суждено было осуществиться, и вместе с их гибелью погиб тот, чья судьба была так тесно связана с судьбою страны.





Афинский Акрополь. По проекту реконструкции развалин Г. Рэлендера

Соединенная армия греков сначала имела успех, но после первых побед она стала отступать и наконец потерпела сокрушительное поражение при Краноне в 322 году. Афины, душа всего движения, принуждены были просить мира. Антипатр, преемник Александра на македонском престоле, между другими, весьма тяжелыми, условиями потребовал выдачи Демосфена и его единомышленников. Напрасно афиняне просили пощадить и сжалиться над ними: свирепый Антипатр настаивал на своем, и Демосфен, видя невозможность иного исхода, решил бежать и тем развязать руки своим согражданам. Он бежал в Калаврию и скрылся в Посейдоновом храме, но вслед за ним погнался некий Архий, бывший комедиант, а ныне верный исполнитель воли Антипатра по части розысков и убийств. Несмотря на свою закоснелость в грехах и преступлениях, Архий долго не решался осквернить древнее святилище, стараясь выманить оттуда Демосфена добром и обещаниями; но последний лишь взглянул ему в лицо и, не поднимаясь с места, презрительно промолвил, намекая на его прежнюю профессию: “Ни твоя игра не трогала меня

раньше, ни твои обещания – теперь”. Архий пришел в ярость. “Ну, вот, – заметил Демосфен, – прежде ты играл комедию, а теперь – македонского оракула. Подожди же, – добавил он, – пока я напишу родным свое последнее прости”. Он удалился в глубь храма и, вынув навощенную табличку, взял отравленный грифель в рот, словно обдумывая и собираясь писать. Закрывшись хитомом и склонив голову на Руку, он ждал действия яда, пока Архий, ничего не подозревая, не подошел к нему и не приказал ему следовать за ним. Тогда Демосфен открыл лицо и промолвил: “Теперь ты смело можешь играть Креона (герой в Софокловой драме “Антигона”, запрещающего хоронить труп убитого Полиника) и выбросить мой труп непогребенным. Что же до меня, о великий Посейдон, то я оставляю твой храм с дыханием в груди, в то время как македоняне не поколебались бы осквернить его пролитием крови”. С этими словами он привстал, сделал несколько шагов и со стоном упал неподалеку от алтаря. Все было кончено, – и Архий поднял с земли бездыханный труп великого Демосфена.

Так угасла жизнь патриота, проведенная в неустанных трудах на благо горячо любимой родины. Эти труды, правда, не дали никаких практических результатов; но если высокие идеалы и неуклонное стремление провести их в жизнь имеют для нас какое-либо значение независимо от степени осуществления их, фигура Демосфена, отдавшего им все свои огромные силы, останется навсегда украшением истории нашей расы. Тем грустнее становится, когда от публичной деятельности Демосфена наш взор переходит к другим сторонам его жизни и личности: мы так привыкли ассоциировать великого гражданина с великим характером и сердцем, что, встречая несоответствие между ними в действительности, мы испытываем не то недоумение, не то жалость. Меж тем, не может подлежать сомнению, что Демосфен как человек и практический деятель стоял гораздо ниже Демосфена как патриота. Выросши в эпоху, когда этические идеалы сменились коммерческими и господствующим мотивом поведения стал материальный расчет, он к тому же еще не обладал достаточной стойкостью, если даже и имел иногда охоту, чтобы противостоять влияниям среды и воспитания и возвыситься одною силою своего духа над общим уровнем привычек и инстинктов. Он недостаточно корректно относился к требованиям профессиональной чести и в процессе против Лептина взялся защищать несправедливое дело из чисто материальных расчетов, а в тяжбе Формиона и Аполлодора (352 – 350 гг.) написал защитительные речи для обеих тяжущихся сторон. Он далеко не питал того уважения к истине и правде, которое мы привыкли искать более, нежели в других людях, в государственных деятелях и юристах – этих *boni viri dicendi periti* (честные

люди, опытные в речи), как говорили римляне: он в своих речах нередко противоречит самому себе, то отрицая истину, то констатируя ложь, и не всегда умеет останавливаться перед клеветой и даже сплетнями, как это видно из его нападок на Эсхина в речи “О венке”. Его искренности поэтому не всегда можно верить и на его слово не всегда можно полагаться. Получив от своего знакомого известие о смерти Филиппа раньше всех, он в своей речи к народу по этому поводу старается обставить дело так, как будто ему приснился сон, возвещающий нечто важное; а в другой раз, во время тяжбы с Мидием, он в речи своей, – к счастью, неизданной, – вооружается против всех тех, которые думали бы, что он имеет в виду какие-либо личные интересы, и инсинуирует, что другие, принимающие к сердцу благо отечества менее близко, чем он, наверное, постарались бы уладить дело полюбовно за приличное вознаграждение. Не проходит и двух месяцев, как он сам отступает и берет от Мидия плату в 30 мин! Здесь уже проглядывает и корыстолюбие его, в котором заверяют нас все древние писатели. По этому поводу Плутарх рассказывает анекдот о том, как Гарпалл подкупил Демосфена, послав ему в дар понравившийся ему кубок с двадцатью талантами. Демосфен сразу стал на его сторону и на следующий день явился в народное собрание, где обсуждался вопрос об участии Гарпалла, с повязанным горлом, показывая, что простудился и не может говорить. Ему, конечно, не поверили, утверждая, что он охрип, проглотив слишком много золота, а когда он пытался впоследствии оправдываться, и публика стала шуметь, один из присутствующих приказал дать право голоса “человеку с кубком”, намекая на пиршественный обычай, в силу которого чаша обходила всех возлежавших и каждый при этом пел или произносил спич. Конечно, мы не станем придавать веру всякому анекдоту; но если даже рассказываемое не больше, чем сплетни, ходившие по устам, то один тот факт, что находились люди, которые верили им и даже передавали дальше, показывает, что репутация Демосфена как бескорыстного и неподкупного человека была далеко не из высоких. Не более высока, быть может, была репутация Демосфена и как мужественного человека. Правда, он не падал духом от неудачи и встретил смерть с замечательным самообладанием; но он бежал с Херонейского поля, подобно многим другим, в то время как старец Исократ, получив известие о катастрофе в своем ученом уединении, не захотел пережить несчастье своей родины и наложил на себя руки; он долго не решался пожертвовать собою для спасения отечества, отделяясь баснями о волках и овцах в то время, как Фокион заверял, – и ему можно было поверить, – что, будь он на его месте, он ни на минуту не задумался бы заплатить своей

кровью за благо родины; он не колеблется выдать головою двух своих товарищей в то время, как Фокион отправляется хлопотать о помиловании своих врагов; и наконец, убегая из тюрьмы, – поступок далеко не сократовский, – он малодушно плакал, упрекая Афины Палладу за то, что она покровительствует и трем таким чудовищам, как сова, змея и народ. Недаром же, когда, через 40 лет после его смерти, афиняне, памятуя его заслуги, воздвигли ему памятник, они начертали на нем надпись: “Если бы, о Демосфен, в тебе сила равнялась суждению, – Марс Македонский осилить Элладу вовек не успел бы”.

Гораздо больше внимания заслуживает Демосфен как государственный деятель. Прежде всего, ему принадлежит одно из наиболее крупных завоеваний в области политической мысли того времени – концепция о единой и нераздельной Элладе как о компактном социальном организме с собственными, ему одному принадлежащими, традициями, культурой и интересами. Без сомнения, эта панэллинская идея как ответ на насущные запросы времени разделялась многими тогдашними мыслителями и кроме Демосфена; но только он один сумел внести в нее надлежащее содержание и оплодотворить ее как исходный пункт и новой политической программы, и новой государственной жизни Греции. В то время, например, как Исократ, стоя на той же точке зрения, видит практическую задачу времени не дальше, как в общегреческом походе против персов, этих старинных угнетателей азиатских греков, и готов с этой целью пригласить в 346 году Филиппа Македонского в качестве полководца объединенной греческой армии, – изменяя таким образом основному принципу панэллинизма о независимости и самостоятельности Греции, – Демосфен, напротив, требует федерации греческих общин как постоянного базиса для их внутренних отношений, с одной стороны, и как принципа обороны против всяких внешних врагов, с другой. Согласно этому взгляду, отдельные греческие государства должны заглушить свой партикуляризм в сознании своей принадлежности к одной общей семье, и их прежняя центробежная политика должна уступить место согласному и дружному действию во всех случаях, когда вопрос идет о внешних делах. Автономия отдельных общин этим не уничтожается, но каждая из них признает над собою существование организма высшего, нежели они сами, членами которого они являются и интересами которого они главным образом и живы. Правда, Демосфен при этом не забывал выдвигать на первый план Афины как первенствующее государство Греции, которому должна принадлежать гегемония, а с нею и известные привилегии; но он не колебался при этом указывать своим согражданам на то, что эта гегемония не только

признается за ними в силу права, даваемого им бесчисленными жертвами, личными и материальными, но и вменяется им в обязанность историческими традициями и значением Афин в культурной жизни Греции. С этой точки зрения гегемония Афин нисколько не идет вразрез с федеративным началом, на котором должны быть переустроены взаимные отношения греческих государств; напротив, настаивая на нем, Демосфен лишь переносит панэллинский принцип из области теории на почву практической жизни, кладя его в основу всей военной и морской организации Эллады.

С этой стороны, следовательно, Демосфен по справедливости может считаться одним из самых выдающихся политических мыслителей Греции, который по широте концепций может стать наряду с ее лучшими государственными людьми, вроде Перикла и Фукидида. К сожалению, как и во всем прочем, теория и практика у него значительно расходились между собою, и над ним, как над практическим политиком, приходится произнести почти столь же отрицательный приговор, как и над его нравственным характером. Не говоря уже о неприязни его к Спарте и Фивам, которая нередко приводила его к положениям, совершенно не согласуемым с его панэллинскими взглядами, а подчас даже вредным в своих практических последствиях, он на каждом шагу в продолжение своей многолетней карьеры совершал поступки, не могущие претендовать ни на последовательность, ни на честность. Мы не станем вслед за одним из новейших историков Греции, Гольмом, утверждать, что он был не более как оппортунист, у которого расчеты минутной выгоды играли роль руководящих принципов; но мы не можем не признать зерна справедливости в этом суровом мнении, видя, как Демосфен беспрерывно впадает в противоречия с самим собою, то утверждая, что он раньше отрицал, то отрицая то, что он раньше утверждал. Так, в 352 году он противится захвату Спартою Мегалополиса, дабы она не забрала потом и Мессении, а в 344, во II Филиппике, он признает за Спартою право над Мессенией и всем Пелопоннесом. Подобным же образом в 344 году он протестует против власти Фив над Орхоменом, а в 338, накануне Херонеи, он готов уступить Фивам как этот город, так и всю Беотию вообще. Конечно, такого рода превращения делались с целью объединить нужные для борьбы с Македонией силы, – и эта цель, доминирующая во всей деятельности Демосфена, является искупительной стороной, ввиду которой упрек в оппортунизме не совсем справедлив; тем не менее, они обнаруживают в нашем деятеле отсутствие строго выработанного плана, с одной стороны, и готовность идти на недостойные компромиссы – с

другой. А это значит, что Демосфен, будучи несравненным агитатором, никогда не мог подняться до той высоты, на которой стоит всякий государственный человек в истинном значении этого слова: он никогда не умел охватить в одном общем взгляде все могущие возникнуть комбинации политических явлений и никогда не был в состоянии согласовать воедино свою главную цель со средствами и орудиями, необходимыми для ее достижения. Он всегда оставался заурядным политиком, не понимавшим высших задач своего искусства, и питаясь тем, что приносит ближайшее настоящее; поэтому при выборе путей он не задавался вопросом, насколько они идут в унисон с принципами, на которых покоится намеченная цель. К сожалению, этот недостаток в значительной степени усугублялся еще его несовершенным пониманием текущих событий. Видя, например, с каким неослабным пылом он вел оппозицию против Филиппа, обвиняя его в коварстве и лицемерии и обличая его поступки и планы, можно было бы ожидать, что если кто и понимал роль и значение царя, так это был Демосфен; между тем нет ничего ошибочнее такого предположения: Демосфен почти вплоть до Херонейского сражения не был в состоянии оценить по достоинству гений македонского завоевателя – его организаторские силы, его военные таланты, его дипломатические способности. Чтобы убедиться в этом, стоит только вспомнить невиданное равнодушие, с каким Демосфен – наряду, впрочем, со всеми – относился к успехам Филиппа, в то время, как он отбирал одно за другим владения афинян на северном берегу Эгейского моря, – или позднее, пренебрежительное третирование им своего противника как незначительного царька, не имеющего за собою ни материальных сил, ни даже нравственной поддержки вроде популярности и личного обаяния. Мало того, постоянно толкуя о лукавстве и вероломстве Филиппа, Демосфен в то же время настолько, по-видимому, мало проникался смыслом своих собственных слов, что нередко давался в обман на самые грубые уловки, – забывая при этом свой недавний опыт и вряд ли даже предостерегаемый на будущее время. Так, например, при обсуждении условий мирного трактата 346 года, когда речь шла об участии фокийцев, он, после некоторой оппозиции проектировавшемуся выключению их из договора, наконец уступил, поверив неофициальным заверениям Филиппа в своем благорасположении к этому злополучному народу. Как известно, эти заверения были столь же нагло попораны, как и в 357 году, когда решалась судьба Амфиполиса, и Демосфен, таким образом, “дал себя дважды обмануть одному и тому же лицу на один и тот же манер!” (Гольм).

После этого приходится лишь удивляться, каким образом, при такой

заурядности личного характера и политических талантов, Демосфену все-таки удалось сыграть в истории видную роль и снискать значительную популярность как среди современников, так и среди потомков? Разрешение этой задачи, кроме как в его патриотизме, следует искать в его поистине дивном даре красноречия, к которому, в заключение этого очерка, нам и следует обратиться.

Нигде, как известно, – ни в древнем, ни даже в новом мире – красноречие не пользовалось такой популярностью и таким влиянием, как в античной Греции, и особенно в Афинах. Живой, восприимчивый и нервный ум грека был особенно чуток к обаянию устного слова, и уже у Гомера мы встречаем указания на преклонение, которое вызывали герои, отличавшиеся умением облекать свои мысли в легкие и удобопонятные формы. Тем не менее, только около середины V века до Р. Х. красноречие достигло полного своего расцвета и стало выдающеюся силой в общественной и политической жизни греческих государств. Отвечая требованиям развившейся демократии, оно возведено было тогда в степень искусства благодаря усилиям софистов, сознавших всю огромную важность и значение слова как орудия мысли. Провозглашая единственной мерой вещей личное мнение индивида и ставя содержание, да и само существование этого мнения в зависимость от получаемого им, этим индивидом, впечатления, эти проповедники крайнего субъективизма первыми стали искать средств воздействия на умы слушателей в словесной форме столько же, сколько в облакаемой ею мысли: они первыми поняли, что одна содержит в себе источник силы и обаяния независимо и сверх силы обаяния другой, и что речь как живое сочетание обеих должна оказывать впечатление и своей существенной, и своей формальной стороной – точь-в-точь, как, например, песня, состоящая из мелодии и слов. Они поэтому раньше всех поставили риторiku как науку истинного красноречия в ряд с логикой как наукой правильного мышления и раньше всех стали настаивать на тщательном изучении первой как на необходимом дополнении к изучению второй. Благодаря этому роль непосредственного творчества значительно умаляется, уступая место рефлексу, сознательности и отчасти даже искусственности; но зато слово как оружие убеждения получает силу, дотоле неслыханную по своей интенсивности и меткости.

В школе, основанной софистами, воспитались все ораторы V – IV веков, и Демосфен, в ком греческое красноречие достигает своего кульминационного пункта, является наиболее достойным и верным носителем ее традиций. До нас дошло до 30 речей, которые признаны за подлинно демосфеновские, но ни одна из них не есть плод импровизации,

как это можно было бы ожидать а priori: каждая представляет результат долгого и тщательного труда, затраченного на развитие темы, на схематизацию плана, на отделку стиля, на шлифовку выражений. Подобно архитектору, воздвигающему здание, Демосфен строил фразу за фразой, точно исчисляя давление и трение и старательно кладя каждый камень в свое место: он взвешивал каждое слово, он изучал каждый эффект, он оттачивал каждый аргумент. Про него говорили, что, проводя ночи в работе, он вплоть до 50-летнего возраста почти что не тушил лампы, а если уже и ложился спать, то на узкой и жесткой кровати, дабы не отдавать сну больше, чем было необходимо. Считая жизнь за тяжелый труд, он, говорят, ни разу не отведал вина, за что получил насмешливое прозвище “водохлеб”, и никогда не мог себе простить то, что рабы его поднялись однажды утром раньше него и принялись за занятия в то время, как он еще спал. Без сомнения, в этих рассказах много преувеличенного, много легендарного; но уже самое существование их доказывает, как мало полагался Демосфен на вдохновенный экспромт и как много отдавал он систематической и сознательной отделке формы, на которой настаивали софисты. “Poetae nascuntur, oratores fiunt”, говорил Цицерон (поэты рождаются, а ораторы делаются), и ни к кому эти слова не приложимы более, нежели к Демосфену.

Тем не менее, мы напрасно искали бы в его речах той безжизненности, сухости и монотонности, которыми обыкновенно страдают произведения не непосредственного творчества. Как передает Плутарх, иные его соперники, намекая на его ночные занятия, упрекали Демосфена в том, что его речи отдают лампадным маслом; но более несправедливого приговора было бы трудно сыскать. Напротив, в том виде, в каком они дошли до нас, речи Демосфена так же свежи и чарующи, как будто только что вылились из груди: они полны жизни и эмоций и, подобно созданиям Фидия, не носят на себе никаких следов работавшего с такою тщательностью резца. В этом виден гений нашего оратора во всей яркости: чуждый схоластических привычек и приемов, он не облакал своих произведений в застывшие и стеснявшие, подобно позам египетских статуй, одежды, но придавал им формы столь же свободные, изящные и безыскусственные, как и складки непринужденно наброшенного хитона. Оттого его речи, как, например, величайшая из них “О венке”, далеко не блещут строгостью плана и стройностью логического порядка мыслей: он преднамеренно и с величайшим искусством придавал им вид импровизаций и в своих стараниях доходил до того, что однажды заставил писца искать и не найти нужной ему для прочтения бумаги, чтобы сделать вид, что речь вовсе не



была приготовлена заранее...

Одною из выдающихся особенностей красноречия Демосфена следует признать необычайную ясность и отчетливость мысли и фразы. Признавая как ту, так и другую за необходимые и неразрывные элементы одного и того же органического целого, он, в противоположность большинству ораторов древнего и нового времени, никогда не произносил пустых, ничего не говорящих слов, никогда не напускал на слушателей неопределенного, хотя бы и приятного тумана, и никогда не приводил их в то состояние, при котором имеются ощущения, но не улавливаются никакие определенные идеи. Он выражался просто и сжато, избегая обычных ораторских приемов, и в каждой его фразе, в каждом его слове присутствовала мысль, четкая и точная, как узор на вновь отчеканенной монете. Это, конечно, не значит, что он был совершенно чужд общепринятых фигур речи, вроде риторических вопросов и ответов, ярких метафор и уподоблений, поэтических образов и картин; напротив, он заходил иногда в этом направлении дальше, чем осмеливались другие; он олицетворял неодушевленные предметы, говорил диалогами и употреблял народные выражения, которые своею грубою силою приводили слушателей в оцепенение; но он никогда не злоупотреблял такими приемами, жертвуя для них содержанием или аргументом, и форма у него всегда оставалась строга и даже скупа. При всех его кажущихся отклонениях основная тема никогда не упускалась из виду; каждое замечание имеет отношение к вопросу, каждая иллюстрация идет к делу, и малейший шаг, который он делает, неизменно и неуклонно ведет к определенному заключению. Его эффекты поэтому менее всего шли в ущерб мысли, его украшения никогда не заслоняли, а тем менее заменяли аргументации, и все свое богатство красок и тонов он черпал в самом построении языка, в самом способе фразировки. Здесь у него был целый арсенал средств, в пользовании которыми он не имел и не имеет себе равного: одним смелым оборотом речи, одной перестановкой обычного порядка слов он достигал результатов, поразительных по оказываемому им впечатлению. Его проза была чистой музыкой, которая движением своим сообщала слушателям эмоции, соответствующие той или другой идее: она состояла из ряда координированных периодов, каждый из которых заключал в себе отдельную мысль во всех ее разветвлениях и уравнивался с другими при помощи тонических ударений (повышений и понижений в голосе) и симметричным распределением эффектов. То короткие и нервные, подобно быстрым ударам молнии, то спокойные и широкие, подобно медленно текущей реке, эти периоды шли один за другим с мелодичною плавностью,

как бы раскачиваясь, лаская ухо своей легкостью и сменой crescendo и decrescendo. Все, что могло бы нарушить волнообразную непрерывность потока, например, встреча двух гласных (особенно твердых) в конце и начале двух смежных слов, или стечение нескольких коротких слогов по порядку в одном и том же слове, беспощадно удалялось, и все, наоборот, что могло бы ее усилить, вводилось с неподражаемым искусством. Мы имеем, таким образом, противоположения начальных слов в двух рядом стоящих предложениях (антитезы), повторения одного и того же слова в начале каждой соподчиненной фразы, следующей одна за другою (анафоры), повторения того же слова в конце соподчиненных фраз (антистрофы), повторения последнего слова фразы в начале фразы, следующей за нею (анастрофы), и так далее и так далее. Virtuозность, с какою Демосфен пользовался этими средствами, поразительна, впечатление усиливалось так называемым ритмом – гармоническим движением прозы, сродным с метрическим движением в стихах, но значительно от последнего отличающимся меньшей правильностью, меньшею закругленностью и большим разнообразием. Как позднее определял Аристотель, элементы ритма составляют длинные и короткие слоги, и чередование их в известном порядке производит впечатление темпа, похожего на музыкальный такт. То ямбические, состоящие из одного короткого и одного долгого слога (-v или v-), то дактилические, состоящие из двух коротких и одного долгого (-vv или vv-), то, наконец, пэонические, состоящие из трех коротких и одного долгого (-vvv или vvv-) слога, эти ритмы придают речи известный характер важности, непринужденности и легкости, смотря по тому, какой из них преобладает. Слова текут, как ладья по тихо волнующейся воде, то повышаясь, то понижаясь, и приковывают внимание слушателей своим звоном и отголоском. Они то поражают драматизмом быстро следующих одно за другим ударений, то ласкают нас лепетом своих мягких созвучий, то чаруют нас мечтательным замиранием понижающего каданса. И Демосфен всем этим умел пользоваться как никто: стоит только прочесть его лучшие речи, чтобы убедиться, какое могучее орудие он имел в ритме, столь родственном, столь характерном для великого греческого языка.

Говорить о других элементах ораторского искусства Демосфена было бы излишне: за невозможностью приводить иллюстрации, пришлось бы повторить все те общие места, которые говорят о всяком другом выдающемся ораторе. Две черты, однако, нам следует вкратце отметить как особенности его красноречия. Ум серьезный, высокий, вдохновленный великою идеей, но вместе с тем холодный и угрюмый, как обнаженная скала, он менее всего был способен на то искристое и пенное остроумие,

которое так прельщает нас в большинстве его соплеменников. Он умел язвить тяжелым сарказмом, он умел подниматься до потрясающего пафоса, он был одинаковый мастер на отборную брань и на торжественные заклинания, но ему оставались чужды те вспышки тонкого юмора – блестящие и игривые, подобно взмахам рапиры, – которые придают обыкновенно речам такой своеобразный, слегка опьяняющий букет. Но, беден в этом, он был богат в другом: действуя в духе времени, сменившем строгий дорический стиль на роскошную коринфскую капитель, он первый ввел в обычай сопровождать речи жестикуляцией и первый превратил ораторскую трибуну в драматическую эстраду. В то время, например, как еще Перикл говорил спокойно и медленно, соблюдая величественную позу и лишь изредка решаясь на небольшой жест, Демосфен был весь огонь, весь ртуть, непрерывно меняя свои положения и усиливая впечатление каждого слова подобающим движением тела и рук. Нам в настоящее время, конечно, трудно произвести сенсацию, которую это нововведение произвело среди афинской публики; но какое значение придавал ему сам Демосфен, видно из того, что спрошенный однажды, что необходимо для хорошего оратора, он ответил: “жесты, жесты и жесты”. Того же мнения, по-видимому, были и его современники, а среди них такой авторитет, как Эсхин: живя в изгнании, он занимался преподаванием риторики и нередко заставлял своих учеников разучивать ту самую великую речь своего соперника “О венке”, из-за которой он должен был покинуть свою родину. Однажды, говорят, он прочел ее с таким блеском, что присутствующие были вне себя и осыпали его шумными поздравлениями. “Да, – промолвил он в неприятной досаде, – что бы вы еще запели, если бы услышали, как произносила ее эта проклятая бестия – Демосфен!”

## Источники

1. *Demosthenes*. Opera omnia. Paris, 1845, ed. Didot. Rec. Voemelius.
2. *Plutarchus*. Vitae – Demosthenes. Paris, 1847, ed. Didot. Rec. Doehner.
3. G. Grote. A History of Greece. London, 1872. Pt. 9, 10.
4. Lord H. Brougham. On the eloquence of the Ancients. Works, pt. 7. Edinburgh, 1872 – 1873.
5. A. Schaffer. Demosthenes und seine Zeit. Leipzig, 1856 – 1858.
6. F. Blass. Die Attische Beredsamkeit. Leipzig, 1880. 3-e Abth. 1-e Abschn.
7. A. Holm. Griechische Geschichte. Berlin, 1891. Bd 3. 8 G. Sittl. Geschichte der griechischen Litteratur. Munchen, 1884 – 1887.
9. M. Weil. Les Harangues de Demosthene. Paris, 1873.
10. G. Perrot. Demosthene et ses contemporains. – “Revue des deux Mondes”, 1872, 1 Juen; 15 Nov.
11. A. Bougot. Rivalite d'Eschine et Demosthene. Paris, 1891.
12. M. Croiset. Des Idees morales dans l'eloquence de Demosthene. Montpellier, 1874.